Владимир Иванович Валуцкий

**Зимняя вишня**

— …ну вот, и они в молодости гадали под Крещение — как-то по-особенному ставили зеркала, глядели в них через свечи и загадывали на суженого, и бабушка один раз увидела лестницу — такая парадная, высокая, с ковром — и вот на этой лестнице появляются ноги в лакированных штиблетах, такие были модными тогда — и медленно шагают вниз. А самого человека не видно, но вот-вот лицо должно появиться. Тут она испугалась, свечи сбросила и из комнаты вон. Я говорю: бабушка, чего ж ты, глупая, побежала — суженого бы увидела. А она говорит: какой там, к лешему, суженый — страшно стало, до ужаса… Смешно?

— Угу.

Я повернула голову и вижу: все правильно — ботинки на ковре. Только не лаковые, а самые обыкновенные. Принадлежат Вадиму. И он их уже надел, и перед зеркалом натягивает свитер.

На часах половина двенадцатого. Лампа горит. В комнате тихо.

— Уже уходишь?

— Пора.

— Заждалась, бедная?

Он надел пиджак, ласково улыбается.

— Ну, малыш, пока? — Это я малыш.

— Пока.

— Тебе тоже спать пора.

— Конечно.

— Не заводись.

— Да что ты, конечно, пора спать. Уже сплю.

— Вот и умница..

Мы смотрим друг на друга, оба улыбаемся, как все понимающие современные люди, — а глаза у него беспокойные, и написано в них одно: Господи, до чего же эта прощальная процедура опостылела! Да и у меня, наверное, глаза не лучше.

— Не сердись, малыш. Все хорошо.

— Конечно. Третий год все хорошо.

Сразу — серьезное, расстроенное лицо.

— Малыш, мы ведь договорились…

— Да ладно, я ничего не сказала.

— Сама проснешься или тебе позвонить?

— Меня разбудят.

— Это кто же тебя разбудит? — в голосе промелькнула ревность.

— Один надежный товарищ.

— Что еще за товарищ? Ты знаешь, каков я в гневе?

— Знаю…

Подходит к дивану, наклоняется, наваливается, душит.

— Р-р-р!.. Страшно?

— Страшно. Иди.

— А вот я не уйду.

Что уходить не хочется — тоже знаю. Это правда. Кому же хочется — в ночь, от тепла, уюта. До чего же мы, Господи, оба несчастные…

— Ну какой у меня может быть товарищ? Конечно, будильник. Иди. — Он целует в щеки, в шею. — Ну уходи… Слышишь? Уходи, уходи, уходи…

Он поднялся, вздохнул. Сейчас рукой тихонько и нежно погладит по щеке. Вот так. И — быстро уходить, пока я притихла. Исчез в передней, вернулся уже в плаще.

— Пока?

— Езжай осторожнее, не торопись.

— Спи, малыш. До завтра!

Дверь хлопнула.

Раньше я от этого хлопка плакала. Уже год не плачу.

Что же, действительно пора спать. Антошка уже давно спит у себя за плотно закрытой дверью. Заглянула к сынуле. Сопит. Нога — из-под одеяла, гуляет сама по себе. Заправила ее обратно — даже не почувствовал. Спит, как зверь бурундук.

Погасить свет в прихожей — идиотский выключатель: надо за веревку семь раз дернуть, пока сработает. На восьмой — гаснет.

Стою в ванной, где колготки развешаны — мои вперемежку с Антошкиными, смываю глаза, гляжу в зеркало на физиономию. Если честно, я отношусь к ней неплохо. Для без малого тридцати — еще вполне ничего. Могла бы, правда, быть немного повеселее…

Зазвонил телефон.

— Да.

— Ольгунька! Ау!

Валя, соседка этажом ниже. Очень веселенькая. В трубке музыка и голоса.

— Ты одна?

— Одна.

— Тогда спускайся к нам. У нас такие люди!

— Я сплю, Валюшка.

— А ты просыпайся и приходи. Подожди…

— Ольга? — это уже мужской голос, решительный баритон. — Ты что там дурака валяешь?

— Сашка, настроения нет веселиться.

— Настроение организуем. И вообще — состав объявлен, замены не принимаются. Подожди…

— Ольгунчик! Ау, мой хороший! Ты спускаешься?

— Валюшка, я уже вся умытая…

— И очень тебе идет! Все ужасно жаждут тебя видеть.

— Кто?

— Исключительно замечательные люди, ты их не знаешь. Ну давай, просыпайся. Лариска уже спускается. — И тихо, прикрыв трубку: — Здесь для нее такой вариант… Между прочим, только что развелся. Ага?

— Хорошо. Зайду на минуточку.

— Ждем!

Только успела снова глаза намазать и что-то натянуть на себя — звонок в дверь. Лариса, другая соседка, этажом выше. Принарядилась — в боевой форме, даже губы накрасила. В руках — сковородка.

— Готова? Ванилин у тебя есть? Валюшка торт печет.

Достаю ванилин, Лариска крутанулась перед зеркалом, оглядывая внешность. Как бы между делом.

— Я лично тоже на полчасика. Завтра день сумасшедший, с утра — в банк, и Сережка расклеился. Спит и чихает, чертенок. В саду сквозняки. А что за люди, не знаешь?

— Говорят, исключительно замечательные. Ну, пошли?

Дергаю выключатель… Лифт, кнопка — на четвертый этаж.

Дверь уже приоткрыта — ждут. Голоса, что-то пригорело на кухне.

— Можно?

— Приветик!

В прихожую выбегает Валюшка. Вся раскрасневшаяся, деятельная, счастливая. Вот кто настоящий малыш, а не я. Мне по плечо. Она у нас с Лариской третий ребенок: Антошка, Сережка и — Валюшка. И в сад вместе ходят, только они — воспитанники, а Валюшка — воспитательница.

Сдаем ей сковородку и ванилин.

— Держи. Что за праздник?

— Мы с игры. Сашка, правда, не играл, но игра была все равно — исключительная! Проходите. Я сейчас…

Обстановка в Валюшкиной комнате спартанская: стол, стулья, тахта — и все. На столе, правда, вино, какие-то яркие заграничные пакетики, коробочки. Трое мужчин, двое незнакомых, третий — Сашка, Валюшкин хоккеист.

— Значит, так, — представляет Сашка, — справа от нас, которая очень красивая, — девушка Оля. Слева, которая тоже очень красивая, — девушка Лариса.

— Павловна, — уточняет Лариска, надменно кивнув мужчине, рядом с которым усадил ее Сашка, — очень подтянутому, в темном костюме и галстуке.

— Герберт… Мартынович…

— Гость из столицы! — объявляет Сашка торжественно, а и комнате появляется Валюшка с подносом, прямо-таки одуревшая от счастья, от любви, от своего торта:

— У Герберта знаете кто отец? Герберт, скажи!

— Ну… Это здесь ни при чем, — нахмурился подтянутый.

— На скамью посажу, — тихо, головы не повернув, бросает Валюшке Сашка. — Мы сами тоже чего-то стоим, верно, Гера? Тоже достойно представляем нашу альма-матер.

— Герберт весь мир объездил! — опять восторженно встревает Валюшка. — В каком ты, Герберт, сейчас городе в Швейцарии работаешь, я забыла?

— Ну, если быть точным, то в настоящий момент не работаю.

— Ничего, старче. — У Сашки в одной руке стакан, другой он хлопает гостя по плечу. — Сегодня здесь, завтра снова в Женеве — ваше дело такое!

— Значит, Герберт Мартынович у нас дипломат? — сурово спрашивает Лариска. — А что же ты, Сашка?

— Чего — я?

— Почему ты не дипломат? Если вы в одной альме матери учились?

Я-то хорошо знаю Лариску: ей обязательно надо с первой минуты самоутвердиться, особенно с незнакомыми мужчинами.

— Потому что Сашенька ушел в большой спорт! — чуть не плача от Ларискиной тупости, кричит Валюшка. А Сашка тоскливо обращается к третьему:

— Веня, объясни девушкам.

Про третьего я еще не сказала: какой-то чудной, в свитере мешком, вид диковатый, неухоженный и даже вроде не очень мытый. Он снял очки, почесал переносицу.

— Видите ли, девушки. В области высшего образования случается много неожиданностей. И жизнь порой поворачивается самым удивительным образом. Действительно, мы все трое учились вместе. В одной столовке в электротехническом трескали сосиски, рубали компот. Надеюсь, не забыл, Гера? А теперь он — москвич, представляет отечественную электронику за рубежом, Сашка с электронной скоростью гоняет по полю шайбу, а я на электронной технике подсчитываю общественное мнение об их деятельности.

Сашка засмеялся, удовлетворенный, и представил:

— Вениамин, научный человек.

Вениамин надел очки, поклонился и прибавил:

— Советский Союз…

Сидим, попиваем вино, едим Валюшкин торт, заграничные сласти, звучит тихая музыка. Посиделки как посиделки, а настроение у меня неважное. Наверное, не нужно было идти, ничуть не развеселили исключительно замечательные люди, скорее наоборот.

И этот Вениамин, Советский Союз, оказался такой болтун. И выпил-то рюмку, а все говорит, говорит:

— …а ведь могла судьба распорядиться иначе, и я родился бы где-нибудь в Лимпопо, и не учились бы мы с тобой, Гера, в одном институте, не ходили бы на Сашкин хоккей, не ели бы этот торт в обществе милых девушек. Вот за это, понимаешь, я и люблю страну, где родился, живу и буду жить. И это не обреченность, а осознанная необходимость — иначе само понятие родины теряет смысл, верно, Сашка?

Очки он то снимает, то надевает, окурки тыкает куда попало — на месте Валюшки убила бы его. А Валюшка сидит, влипнув Сашке под мышку, и слушает — ей все ново и интересно.

— Кто же спорит, — отозвался Сашка.

— Саша… — Валюшка забеспокоилась, увидев, как он, уже заметно смурной, потянулся к бутылке, — еще же не вечер…

— Я тоже не спорю, я просто увлекся, понимаете, а вообще ужасно, по русской привычке хочется спорить, утверждать, опровергать, понимаете, мы так мало спорим, ребята, а жаль… Оля! — поворачивается он к Лариске. — Я призываю вас спорить!

— Ой, давайте! — хлопает в ладоши Валюшка.

— Я согласна, — говорит Лариска. — Если только вас не смущает, что я — Лариса.

— Вы — Лариса. — Ничуть его не смущает. — И это прекрасно! Ведь мы, Лариса, вот так собираемся, говорим на общие темы и расходимся, а ведь нам есть чем поделиться! Ну ладно Герка — он по заграницам от наших обычаев отвык, а мы-то с вами!

Тут Герберт, который словно закоченел в своем костюме с галстуком, вдруг несогласно шевельнулся:

— Это неверное суждение.

— В смысле? — проснулся Сашка.

— Живя, как вы говорите, по заграницам, как раз и начинаешь понимать, что для человека важнее всего.

— А что важнее всего? — спрашивает Валюшка.

— Наверное, простое человеческое счастье, — сказал Герберт и, кажется, в мою сторону посмотрел.

— Верно, — согласился Вениамин, — но пока его нет, простого человеческого, счастье уже и в том, чтобы всласть поспорить, поскулить, поплакаться в жилетку. А особенно — для женщин. Верно ведь, Лариса?

Лариска надменно произнесла:

— А почему вы женщину как-то особенно выделяете?

— Женщинам всегда больше всех доставалось. Мужчины все-таки сильный пол, вон посмотрите на Сашку: гладиатор двадцатого века, ледовый рыцарь!

Лариска усмехнулась:

— Рыцарей вообще нет. Никаких. Мужчины себя изжили! — И, отодвинувшись на диване, закурила. Потому что вышла на коронную тему, мы тоже часто говорим об этом втроем, за бутылочкой. А может, потому, что Герберт опять на меня внимательно посмотрел:

— И Оля так же думает?

— Так же, так же. Он женщин жалеет, особенно одиноких, да?

— Я, собственно… — запнулся Вениамин.

— А они давно поумнели, женщины! Поняли, что проще жить, когда скулить и плакаться некому и надеяться не на кого, кроме как на себя! Кому плакаться? Мужику, от которого больше всего им и доставалось?

— Ты с Лариской не спорь, — заметил Сашка. — У нее мужики — во где, — и показал кулак. — Она им на автобазе зарплату платит.

— Но это, знаете… — Герберт пожал плечами. — А как же дом, семья?

— А я и есть семья! — дымит и режет Лариска. — Я и мой ребенок. А еще одно дитя всю жизнь нянчить — хватит, нанянчилась. Готовь, стирай, восхищайся, а отдача — фиг. Слава богу, три года одна и не жалею. Я только теперь и поняла, что такое настоящая жизнь, и ни на какие коврижки ее не променяю. Потому что скулить и плакаться причин не стало. Да чтобы снова в эту петлю?.. Никогда в жизни!

Вениамин ее решительного выступления как будто даже немножко испугался. Притих.

— Я слегка озадачен… Но мне все равно страшно нравится, что мы говорим, спорим. Вот только Оля все молчит. Грустная, прекрасная Оля. — И посмотрел на меня, а я действительно за весь вечер ни одного слова не произнесла.

— А она тоже свое оттрубила, — говорит Лариска. — А теперь — свободная, красивая женщина, сама себе хозяйка, верно?

Тут уже все посмотрели на меня, будто проверяя, вправду ли я красивая или нет. И я вдруг сказала:

— Не знаю…

Как это у меня получилось, не понимаю. Тут все, наверное, напало одно на другое: и мое поганое настроение, и эта вечеринка, никому не нужная, и громкое Ларискино выступление…

Лариска с Валюшкой удивленно на меня выкатили шары.

— Чего — не знаешь? — спрашивает Лариска.

— Не знаю, лучше ли это — быть себе хозяйкой. И хорошо ли, когда свобода. Наверное, все-таки нужно, чтобы было кому поплакаться…

— Ты что, обалдела? — говорит Лариска. — Ренегатка!

— …потому что, наверное, семья — это как родина. Должна быть, и все тут, иначе в ней вообще смысла нет…

— Золотые слова, надо выпить, а выпить нечего, — встал Сашка и пошел на кухню.

Тут Валюшка опомнилась, вскочила тоже, побежала за ним:

— Сашка, у тебя же режим! Тебя опять к игре не допустят!.. Там больше ничего нет! Ну пожалуйста! Александр!

С кухни послышалось: «возникаешь», «силовой прием применю» и еще какие-то слова, Валюшкин всхлип, потом что-то упало и разбилось. Когда разбилось, поднялась и Лариска:

— Это бывает, товарищи, это мы будущую счастливую жизнь репетируем. Минутку. — И отправилась на кухню выручать Валюшку.

А на меня вдруг нашла такая пустота, словно со сказанными словами я всю себя куда-то выплеснула, и я тоже поднялась.

— Извините, мне пора. Правда пора, до свидания.

И увидела, уходя, как пристально и недоуменно глядят мне вслед исключительно замечательные люди, Герберт и Вениамин.

Вернулась домой. Антошка спит, нога под одеялом — не шевельнулся за все время, бурундучок. Набираю номер телефона.

— Слушаю. — Вадим уже дома, сам подошел.

— Как доехал?

— Извините, молодой человек, вы, наверное, ошиблись номером.

— Докладываю: будильник поставила, спокойной ночи.

Положил трубку, и я кладу. Нет, все-таки мне, наверное, сейчас лучше: я лягу, а ему еще врать жене про какую-нибудь делегацию из Польши, про скучный, затянувшийся банкет… Спать. Задергивая штору, вижу двор, вижу, как выбежал из дома Сашка. Значит, опять поссорились, Валюшка плачет. Может, и мне пореветь? Не получится, наверное, и раньше-то не очень получалось. Еще кто-то вышел из парадного. Судя по походке — Герберт. Наверняка вот та длинная белая иномарка — его машина. «Мерседес», кажется.

Уселся, поехал — не увлекла Лариска спором, вариант не прошел, вечеринке конец.

Опять стою в ванной, смываю глаза. Сейчас приму душ — и спать, спать.

Господи, это еще что такое — звонок в дверь.

— Кто?..

Молчание.

— Кто там?

— Извините, Валя, это я, Вениамин… Прошу вас, откройте на минутку.

Так. Не очень оригинально.

— Извините, Вениамин, но здесь живет не Валя, а Оля. И она спит.

— Да, конечно Оля, простите, оговорился… Я волнуюсь. Подождите, не уходите от двери.

— Еще не ушла. В чем дело?

— Мне нужно сказать вам очень важное, но я не могу через дверь. Пожалуйста, откройте! Оля.

— Вениамин, я очень устала, и я примерно представляю, что вы скажете.

— Я тоже представляю, что вы представляете, но это совсем не то. Честное слово. Клянусь вам мамой.

Сумасшедший какой-то. Но после таких слов попробуй не открыть. Открываю.

Стоим друг перед другом, глядим через порог.

— Говорите.

— Оля. Выходите за меня замуж.

Час от часу не легче. Хотя — уже понятнее.

— Интересно, — произношу не без иронии. — Вы бы хоть мое имя запомнили, прежде чем делать предложение.

— Да, все это выглядит нелепо. Я совсем не с того хотел начать. Но поскольку я боюсь, что вы захлопнете дверь… Можно, я войду? Ровно на пять минут.

Я подумала: ведь не отвяжется.

— Ну заходите. Только говорите тише — сын спит.

Теперь мы стоим друг против друга в прихожей. В той же позиции.

— Понимаете, Оля, я никогда не был женат. Так вот вышло: дожил до тридцати шести годов, влюблялся, всю жизнь мечтал о семье и не женился. А вы… Вы сказали поразительную вещь. Вы так неожиданно сказали и так не по-сегодняшнему, вы помните?

— Что плохо быть одной?

— Не только. Это любому плохо… Что семья — это как родина. Должна быть, и все остальное — неважно.

— Интересно. Неважно даже, люблю ли я? Скажем, вас?

— Да! Потому что и родину мы заранее не выбираем. Мы просто рождаемся и уже только после учимся и любить ее, и уважать, и исполнять свой долг. А вначале мы ее просто обретаем… Вы ведь сейчас все равно никого не любите, так чем я хуже других? Кроме того, что понимаю вас лучше, чем остальные.

Я гляжу на него: сумасшедший или не сумасшедший? Нет, глаза нормальные. Усталые, правда.

— А вы не хотите крепкого чая? Или лучше кофе?

Он понял, усмехнулся.

— Вы не думайте, я не пьян, вернее, не настолько. Просто не каждый день приходится говорить такие слова… Но кофе я выпью, если предложите.

Что с ним делать? Ну ладно, напою его кофе, такие слова слушать тоже не каждый день приходится.

Пошла на кухню, Вениамин поплелся за мной. Сел тихонечко за стол. Пока я вожусь с кофейником, вертит головой, оглядывается по сторонам, продолжает свои речи:

— Вы понимаете, жизнь приучила меня быть осторожным с женщинами, хотя я человек очень доверчивый по натуре. Но про вас я точно знаю, что вы не лгали, и мне с вами легко, и почему-то верится, что вы меня верно поймете. Мне даже кажется, что я уже был в вашем доме, видел ваши чашки, эту скатерть — словно уже давно здесь живу.

Интересный поворот, думаю я.

— А вы бы и поселиться здесь хотели?

Он смутился, но ненадолго:

— Ну пока, если бы вы, конечно, согласились. Квартиры у меня, понимаете, сейчас нет, мы живем с мамой в коммуналке. Но я зарабатываю не так уж плохо. Я программист по профессии, подрабатываю немножко заказами… Пишу кандидатскую…

Пока он говорил, я разглядывала своего странного гостя. И не таким уж чудиком он мне показался при ближайшем рассмотрении: свитер, действительно мешком, на локтях неумело заштопан, но рубашка свежая, лицо доброе — обыкновенный неустроенный мужчина. А кофе я в результате проглядела: брызнул на плиту, зашипел — Вениамин вздрогнул и замолчал.

— Готов ваш кофе, — сказала я.

— Да. Спасибо… — Он медленно, глоток за глотком, выпил всю чашку, поставил ее и печально смотрит на меня: — Так как, Оля? Давайте жить вместе?

Затянулся наш разговор, и его явно пора было заканчивать. Я засмеялась:

— Но не с сегодняшней же ночи!

Он кивнул:

— Извините. Я и так пробыл втрое больше отпущенного. Я ухожу.

— Желаю счастья, — провожаю я его в прихожую.

У двери он обернулся:

— Но если мои слова все-таки не покажутся вам полным бредом и если когда-нибудь вам станет совсем плохо — вы вспомните, как я сказал вам: Оля, давайте жить вместе! И тогда вы мне позвоните и скажите: да. Просто: да.

— Вениамин, дорогой, — этак покровительственно отвечаю я ему. — Мне было интересно вас послушать, но я люблю другого человека, и он меня. И жаловаться мне совершенно не на что. Правда.

Он поглядел на меня укоризненно, покачал головой.

— Неправда. У вас глаза были бы совсем другие. А такие — я каждый день в зеркале вижу. Всего хорошего, Оля.

Стою у окна, гляжу вниз, на опустевшую площадку для автомобилей, по которой идет Вениамин. Тихонько идет, неторопливо, как человек, которому и вправду некуда спешить.

Ну вечерок. Надо позвонить Лариске.

— Лариска, спишь? Проснись на минутку — не пожалеешь!

Да неужели же кто-то опять звонит?

Нет, это будильник, надежный товарищ. Половина восьмого. Утро. Солнце. Кавардак в квартире. Рабочий день.

Стучу кулаком в стенку:

— Эй, зверь бурундук, подъем!

Ношусь как угорелая по квартире под Пугачеву из проигрывателя. Одеваюсь, собираюсь, мажусь, навожу красоту. Антошка у себя в комнате, тоже, по идее, должен одеваться. Заглянула к нему — сидит на кровати встрепанный, сонный, задумчиво сует ногу в колготки.

— Быстрей, быстрей напяливай!

— Если быстлей, то будет задом напелед. (Когда же он «р» научится выговаривать?)

— Ничего. Когда опаздываешь, можно и задом наперед.

— А почему ты все влемя опаздываешь?

— Потому что такая уж у тебя мать, выбирать не приходится.

Бегу в ванную, но у меня ведь не ребенок, а «что, где, когда».

— Мама, а человек плоизошел от обезьяны?

— От обезьяны.

— А как же — в Ленингладе ведь обезьянов нету!

— «Обезьянов» нету, а обезьяны — жили, очень давно, от них он и произошел. А ты — от ленивца, знаешь такое животное?

— Не-ет…

— Ну вот, придешь в сад и спросишь, а поэтому одевайся быстрее.

«…держи меня, соломинка, держи. Когда вокруг шторма в двенадцать баллов…» — это Пугачева из проигрывателя.

А это уже Лариска. В дверь звонит. Открываю — не Лариска, а ее Сережка.

— А где…

— Ч-хи!

— …мама?

— Мама в лифте стоит, чтобы не уехал.

— Здесь я, здесь! Быстрее!

Наконец выволакиваю Антошку, и мы — в лифте, где, чтобы не уехал, стоит Лариска.

— Привет.

— Привет. На машине поедем — Коле с автобазы по пути.

— Ул-ла! Ч-хи!..

— Ну, не надумала Витамину звонить?

— Ага, он не дурак. Позвоните, а телефона не оставил.

— Кстати, мой бывший звонил, им пальто дутые финские завезли.

— А какого цвета?

— Не знаю. Дутые!

Остановка. Надо сбегать за Валюшкой. Слава богу, собрана, запирает дверь. Почему-то на три замка, сокровища, видите ли, у нее.

— А Лариска где?

— В лифте стоит, чтобы не уехал. Ну что, поссорились?

Валюшка глядит, сияющая, счастливая:

— Что ты! Вернулся, прощения просил. Прямо какой-то сумасшедший… — И в лифте с гордостью отворачивает свитер на шее со свидетельствами пылкой любви.

— Ох, дура ты, дурочка у нас, Валюшка, а еще воспитатель. Как мы только тебе детей доверяем! Тебе пальто финское нужно?

— Какого цвета?

— Дутое.

— Мне Сашка из Чехословакии привезет.

Спускаемся, выходим дружной семьей из подъезда. Впереди — мы с Лариской, сзади — Антошка, Сережка и Валюшка, взявшись за руки. Перед подъездом — целый автобус, на боку написано: «Изыскательская КХ-2». Внутри — приборы, но места хватает.

— Дай тебе бог здоровья, Колечка, радость моя, за мной не пропадет, — умасливает Лариска мрачного водителя.

— В детский сад, что ли, вначале?

— Как всегда, золотко, как всегда!

Поехали. С песней. У нас есть любимая, дорожная, ее хором хорошо петь:

— «А ты такой холо-о-одный, как айсберг в океане… И все твои печали под темною водо-о-ой…»

Начинается мало чем от других отличимый теплый день осени тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года.

Работаю я в НИИ, в каком — не имеет значения, в бюро технической информации. Наш институт — в старинном особняке, за узорной оградой. Автобус высаживает меня у Банковского мостика, дальше бегу на своих. Задерживаюсь у стоянки машин — Вадим уже здесь, это его «жигуленок», другого такого ржавого и пыльного во всем Ленинграде нет. Пальцем пишу на пыльном стекле «привет». На работе, может, случая не представится.

Через мраморный вестибюль, по лестнице со скульптурами спешу к своему рабочему месту.

В стеклянной выгородке, за которой видна комната с компьютерами, дисплеями, стеллажами для хранения материалов и девушками-операторами, — два стола: мой и Кирилла Ивановича, шефа. Ему около шестидесяти, маленький, подвижный, с острым, любознательным взглядом. Когда я вхожу, его взгляд тотчас ко мне прилипает:

— Опаздываете, сударыня.

— Извините, автобус…

— Я не в осуждение, просто констатирую факт. Это мы, старики, приходим вовремя. А у вас — интенсивная молодая жизнь. Свидания, расставания… Что еще? Расскажите.

А глаза старика так и шарят по мне, будто хотят отыскать что-то новое. Будто не изучил все мои руки-ноги за пять лет.

— Стирка, готовка, Кирилл Иванович, чтение художественной литературы.

— Позвольте не поверить. У хорошенькой молодой женщины не должно быть такой скучной жизни. Кстати, вас уже спрашивали.

На секунду застываю у шкафчика, куда мы вешаем одежду.

— Кто?

— А кто, кто вас интересует? — игривенький голос сзади. — Расскажите.

Возвращаюсь к столу с непроницаемым видом.

— Просто меня интересует, кто меня спрашивал.

— Всё тайны, тайны, хорошенькая женщина всегда окружена тайнами! Вадим Михайлович… — маленькая пауза, любознательный укол глаз, — ах нет, он вас вчера спрашивал. Кстати, прекрасный человек, перспективный работник, интересный мужчина. Слушайте, что бы вам с ним не завертеть роман? По-молодому так, красиво, безоглядно!

— Кирилл Иванович, — скучным голосом говорю я.

— Бруевич вас спрашивал. — Взгляд в бумаги, губки поджал. Обиделся. — Вы обещали ему подготовить материалы по типажам. И не подготовили. И за это я вам, сударыня, вынужден, извините, сделать замечание.

Действительно обиделся. И так по сто раз на дню, словно что-то ему должно светить.

В обеденный перерыв пью кофе в буфете. Сижу одна за столиком. Вдруг:

— Можно к вам, Ольга Николаевна?

Вадим стоит с подносом, борщ качается в тарелке. Улыбается. Свежий, выбритый, и так хочется дотронуться до него хоть на мгновение.

— А не боишься — увидят?

— А пусть завидуют, — отвечает и садится со своим борщом.

— Кому?

— Тебе, конечно. Такой мужик рядом сидит. Храбрый.

— Давно ли — храбрый?

— С сегодняшнего дня.

— Это как?

— А так. Надоело все.

— И я?..

— Ты — наоборот…

Он слегка коснулся моей руки, смотрит своим убийственным ласковым взглядом.

— Сердишься, малыш?

— За что? Давно отучил.

Он понимающе кивает:

— Измучил я тебя… И себя тоже. Слушай. Что ты делаешь в выходные?

— Сижу с Антошкой, а что?

— А нельзя его куда-нибудь деть?

— Нельзя. У Лариски Сережка разболелся.

— А муж не может взять? В конце концов, его ребенок.

— Вадим, — говорю я, — извини, но хотелось бы знать…

— Малыш, мне тоже надоело глядеть на часы, прятаться но углам. Врать, спешить. Так больше нельзя, надо разорвать этот порочный круг… Только ничего не спрашивай, дай слово, что сделаешь, как я прошу. Даешь слово? Малыш?

Я притихла — такого в нашей жизни еще не было.

— Ну разве не об этом мы с тобой всегда мечтали? А? Оля?

Я медлю, гляжу на его необычайно возбужденное лицо; медлю — но, конечно, уже знаю свой единственный ответ…

Договорились с Софьей Николаевной, матерью Филиппа, бывшего моего мужа. В старом, еще до революции построенном доме лифт, как всегда, не работает. Топаем на высокий третий этаж, на Антошке звенит амуниция: ружье, пистолеты, сабля бьет по лестничным перилам. Звоним.

Открывает Софья Николаевна — энергичная, худая, нечесаная, во рту папироска.

— Баба Соня, луки ввелх!

— Здрасьте. Это за все-то заботы? Ах, Антон Филиппыч, неблагодарная вы дрянь, весь в папу. — Она ерошит ему волосы и толкает в зад. — Иди лучше с сестренкой поздоровайся.

Появляется годовалая дочка Филиппа, ноги в колготках заплетаются, палец во рту.

— Анютка, луки ввелх!

— Засадили бабку чад сторожить, а меня больные ждут. Твой бывший со своей новой тоже дома сидеть не любители.

— Софья Николаевна, я…

— Ладно, без прохиндейства. Извини, не целуюсь, табаком пропахла. Плохо выглядишь.

— Устала…

— Дай пульс. Ерунда. Низкое давление. Принимай ванну с бадузаном и заведи любовника.

— Есть.

— Значит, хорошего заведи.

— Вроде хороший.

— Значит, само пройдет. Красоты и молодости у тебя с запасом. Я Филиппу, когда он на этой дуре женился, говорю: идиот, после Ольки дочь Онассиса — еще куда ни шло, а ты такую бабу на дерьмо променял. Чай пить будешь или бежишь?

— Бегу.

— Тогда подожди. — Софья Николаевна достает из комода конверт. — Он тебе деньги оставил. Элементы, как покойная Дуня говорила.

Толстая пачечка, завернутая в листок какой-то исчирканной формулами рукописи.

— Тут не много?

— Нормально, нормально, он наконец за учебник получил. Куда бежишь?

— В командировку.

— На выходные? Ты, мать, не заливай по привычке! — улыбается, а улыбка у нее неожиданно добрая и замечательная. — Теперь заливать ни к чему.

Вначале наши белые «жигули» ехали по шоссе, потом свернули на проселок, потряслись по нему немного, попылили, въехали в лес, и за лесом, на опушке, показался дом. Небольшой, бревенчатый, за невысоким забором.

Вадим вышел из машины, кивнул:

— Дарю — ваше!

— А на самом деле чье?

Он поморщился с досадой:

— Какая разница. Все тебе надо испортить.

— Ну ладно, я ничего не сказала…

Вадим ключом открывает двери, мы входим, и я вижу, что он неплохо здесь ориентируется.

— Гостиная, — показывает он. Широкий дощатый стол, скамьи, шкура на полу, камин, уютно. Ведет дальше:

— Спальня. Туалет городского типа. Душ. Сауна. — За дверцей чистенькая парилка. — Кухня. Холодильник. Выгружай провиант. Тебе нравится, малыш?

— Очень нравится…

Он целует меня и, довольный, выходит на террасу.

— А ты погляди, малыш, какие вокруг дали неоглядные!

Я выхожу, залезаю к нему под мышку, как Валюшка, и теперь сама себе кажусь малышом. Вправду, хорошо быть малышом и ни о чем не думать, прислонясь к мускулам. А перед нами луг, озеро, желтеющий холмистый берег на той стороне — никого-никого, кроме нас, ветра и птиц…

Утром я просыпаюсь в широкой мягкой кровати. В окно бьет белое утреннее солнце. Я одна.

Накидываю халат, ноги — в туфли, иду по дому.

— Вадик!

Никакого ответа. Выхожу на улицу.

Что за чудеса. Машина стоит, Вадима нет.

— Ау! Отзовись!

Никто не отзывается. Пропал человек. Стало страшно не на шутку: ведь спроси меня — где я, а я даже не знаю. И я закричала что есть мочи:

— Ва-адька-а!

— Ого-го!.. — донеслось в ответ издалека.

Я, радостная, оборачиваюсь на крик и вижу: бежит мой Вадик вдоль берега, в одной руке что-то белое, другой машет мне.

Подбегает к дому — штаны завернуты по колено, босой, по пояс голый, в руке двухлитровая банка молока.

— Ты куда делся?

— В деревню бегал за молоком.

— А где деревня?

— Вон там. Семь километров.

— С ума сошел!

— Я же обещал, что утром будем пить парное молоко.

— Сумасшедший… — Нежность меня так и захлестнула, и он понял, но для важности нахмурился:

— Зачем в туфлях ходишь? Надо рязряжать пятками избыточное электричество. Скидай туфли.

— Сумасшедший диктатор!

— А мужчина должен быть свиреп.

— У тебя не получится, ты слишком обаятельный.

— Еще как получится. Затрепещешь! — он рычит, оскалившись, собирается меня терзать, а я хохочу.

— Испугалась?

— Конечно. Я даже не знаю, где я.

— Тебе это важно? Ты со мной.

— А ты — где? Вот глупый, я же парное молоко терпеть не могу. Что ты делаешь? — кричу, увидев, как Вадим медленно выливает молоко себе на голову.

— Не пропадать же добру. — И тут же остатки молока широким веером летят мне в лицо.

Стою на скользком бережку, а Вадим — в воде у берега, где сразу — по грудь, и тянет меня за руку, а я упираюсь всеми оставшимися тремя лапами:

— Подожди, я же плавать не умею…

— Научишься.

— Ты моей смерти жаждешь!

— Со мной не потонешь.

Рванул за руку, я бултыхнулась и сразу пошла ко дну. Но на самом деле не пошла — Вадим подхватил меня, гребет одними ногами, и я рядом — как чурка.

— Подожди, я воды наглоталась.

— Полезно. Живая, не водопроводная.

— Холодная.

— Не ври.

— А вдруг акула?

— Уху сварим. Ну, плыви!

Отпустил меня вдруг и куда-то вбок унырнул. А я уже на самой середине озера.

— Ай… Вадька! Дурак… Я… тьфу… я-то… тьфу… то-ону!..

Но, в общем, как выясняется, не тону, колочу всеми конечностями по воде, причем — к берегу, и довольно быстро. Тут он снова вынырнул, подхватил, и сразу стало опять надежно и спокойно.

— Не для того привез, чтобы топить.

Потом Вадим удит рыбу, а я, чтобы не мешать священнодействию, гуляю вдоль берега, разряжаю пятками избыточное электричество, ломаю ветки с красными и желтыми листьями. И этот букет, разлапистый и веселый, стоит у нас на столе в банке из-под утром вылитого молока.

Обеденный стол огромный, блестит, как паркетный зал, в тарелках овощи, зелень всякая, никакого вина, одни витамины.

Вадим с подносом чего-то дымящегося, рыбного, неописуемо вкусного входит из кухни. Обжигая руки, бахает поднос на середину стола.

— «Фиш а-ля Дашков». Прошу!

Накладывает мне неведомой еды, сам садится к столу.

— Ну? Как?

— Вкусно! Вот уж не думала, что ты умеешь готовить.

— Нужда научит. М-м! Блеск! Что смотришь?

А я правда не свожу с него глаз.

— Никогда не видела, как ты ешь.

— Ну уж!

— Не борщ в столовой, а — дома… Как пьешь — видела. Как закусываешь… А как ешь, когда мы одни, да так с аппетитом — ни разу.

Он уплетает кусок за куском, вертит головой, мычит что-то с полным ртом, и подбородок в соусе — ну точно как Антошка, поросенок.

— Ты еще много чего обо мне не знаешь.

— Правда не знаю. Ты мне не рассказываешь.

— А ты спрашивай. Но только при этом ешь, а то все остынет.

— Ага… ем… Я твою маму никак себе не могу представить. Ты на нее похож?

— Похож. — И с обидой: — Ты фиш а-ля Дашков будешь лопать, или я тебе не угодил?

— Буду, буду, лопаю. Очень угодил! Как ты не понимаешь, что мне все интересно, каждая мелочь, каждая секундочка твоей жизни… Каждая твоя клеточка, — отвечаю я и чувствую, что глаза у меня влажнеют, то ли от счастья и умиления, то ли от страшной, ненужной сейчас мысли, что вслед за субботой и воскресеньем придет понедельник…

— …ты меня любишь? Я глупая… но все равно скажи… Я тебя никогда не спрашивала и не спрошу больше. Скажи: ты меня любишь? Только правду…

— Конечно люблю, малыш. Кого же мне еще любить, если нас только двое на всем этом свете…

Вечером мы зажгли камин и сидим перед ним, уютно устроившись на шкуре. В комнате темно, только убаюкивающий свет от камина, непрочное колебание теней. И кажется, что мы сидим здесь вечно. И мысли плывут в этом свете куда-то беспорядочно.

— Жалко Антошку. Ему бы на целый год хватило воспоминаний.

— Угу.

— Если когда-нибудь еще поедем, давай возьмем его с собой?

— Угу. Он плавать тоже не умеет?

— Он вообще трус ужасный! Я в зоопарке его на пони катала, а лошадки бежали друг за другом, и он сидел крайний в коляске. Потом я спрашиваю: тебе понравилось? Не знаю, говорит. Я все время боялся, что та поня, которая за нами бежала, догонит и укусит. Он решил, что пони его специально догоняет, представляешь?

— Смешные они, ребята.

— Вадик…

— Угу.

— Давай поженимся, а? Я тебе девочку рожу.

Молчание. Долгое. Он поднимается.

— Ну зачем же так…

Расстроенно ходит по комнате, ищет сигареты, спички и не может найти.

— А что я такого сказала…

— Мы же договорились.

Знаю, но не могу остановиться. Может быть, потому, что иначе заплачу.

— Но почему? Почему? Ведь все так просто: если люди любят друг друга…

— Зачем об этом именно сейчас?

— А когда? Когда?

— Оля, что с тобой? Ты ведь всегда была умницей, малыш?

— Я не малыш! Мне тридцать лет! Я не могу больше ждать, не могу… Ну почему?

— Что почему?

— Если людям хорошо вместе, почему им не должно быть хорошо всегда?..

Он все ходит по комнате. Ни сигарет, ни спичек…

— Ну хотя бы потому, что сегодняшний день — это мечта. Сказка. А сказка, малыш, не может повторяться каждый день.

— Я не малыш! Почему?

— Потому что, Оля, не можем же мы и вправду позволить себе забыть обо всем. Должно пройти время, сейчас не тот момент. Юля несчастный, зацикленный на своей работе человек, сейчас она без меня просто погибнет. Все у нас с тобой будет хорошо, но пока обстоятельства сильнее нас…

— Почему?

— Что, черт возьми, почему?

Нет никаких сил унять это глупое слово. Оно существует, звучит помимо моей воли:

— Ну почему? Почему? Почему?..

Едем в машине по городу молча. Уже совсем стемнело, парочки возвращаются с гулянки.

— Посиди. Ключи надо отдать.

Сижу, словно закоченев. И никаких чувств: ни злости, ни обиды, ни досады — тупость какая-то и усталость. Господи, зачем я здесь сижу? Вот едет такси свободное… Выскакиваю навстречу, машу.

— В парк.

— Мне здесь, недалеко.

— В парк!

— Я вас очень прошу!

— Сказано — в парк!

Сколько злости может быть в одном человеке. И за что? Сажусь обратно в «жигуленок». Вернулся Вадим.

Опять едем, молчим, он косится на часы, чувствую, начинает нервничать.

— Устала? Это свежий воздух. Наглоталась кислороду.

И снова наступает тишина, и длится до тех пор, пока машина не останавливается.

— Оля…

— Да?

— Твой дом. — Он положил руки на руль, смотрит ожидающе.

А на меня опять нашло оцепенение.

— Ну, пока?

— Пока.

— Что с тобой? Ты обиделась?

— Нет.

Проводит рукой по моей щеке.

— Если я тебя чем-то обидел, прости. Но главное — отдохни и выспись. Все не так плохо, малыш! До завтра!

А у меня нет сил даже бросить шутливо «спасибо за компанию», или «привет жене», или еще что-нибудь прощальное в этом роде. Потому что эти наши прощальные слова стали вдруг такими огромными, так много стали значить, что, может быть, даже значат сегодня: «навсегда».

Захлопнула дверцу. Вадим постоял, подумал и газанул.

Вхожу в подъезд, машинально достаю из ящика газеты, накопившиеся за два дня. Поднимаюсь, отпираю квартиру, зажигаю везде свет. Прибрано, пусто. И даже Антошки нет.

Вот теперь, девушка, можно и зареветь, повалившись на диван. Сколько же ты лет, старушка, не плакала?.. Но слезы кончились быстро, как весенняя гроза.

Наверное, это не проходит даром — так долго быть современной и самостоятельной. Вот и плакать разучилась. И правильно. Зачем? Слезами болезни не поможешь.

Включила проигрыватель.

«Держи меня, соломинка, держи…»

Лежу, шмыгаю носом, тупо рассматриваю газеты. Из них вылетает конверт. Странное письмо — адрес мой, а фамилии нет, только: «Оле».

Внутри листок, и на нем номер телефона, больше ничего. Не такой уж, значит, Веня чудак. Все предусмотрел, даже момент. Значит, это судьба.

Насухо вытираю слезы, убираю музыку, подхожу к телефону. Снимаю трубку. Нет… А почему — нет? Жить значит действовать, всему наперекор и назло, только так. Набираю номер.

Гудки. Голос:

— Да?

Молчу. Снова голос, с робкой и радостной надеждой:

— Это Оля?..

И я отвечаю:

— Да.

— Антон, — говорю я сыну утром на кухне. — Сегодня ты останешься в саду.

Мгновенно вскинул на меня глаза, и губы подозрительно задрожали. Только бы самой не расчувствоваться.

— Я не хочу…

— Мало ли чего ты не хочешь, у меня дела. Работа. Ты будешь с Валей, она сегодня ночью дежурит.

— А завтла ты меня возьмешь?

Я поднимаюсь из-за стола, иду с чашкой к мойке.

— Иди собирайся, мы опаздываем.

— А завтла ты меня возьмешь? Я не хочу на пятидневку!

Хоть и не оборачиваюсь, делая вид, что занята мытьем посуды, чувствую, как захлопали у него все быстрее ресницы — вот-вот расплачется, но кричать начинаю первой:

— А если и на пятидневку — что плохого? Вон Сережка Ларисин все время на пятидневке! Имею я тоже право отдохнуть?

— Не имеешь! — Все. Заревел. Бросаю чашку, обнимаю его.

— Антошечка, милый, так надо… С тобой Валя будет, и я буду каждый день приходить.

— Не хочу на пятидневку! Чхи!

— Не обезьянничай, нету тебя насморка!

— Чхи!.. К-хе!.. Не хочу на пятидневку! Не хочу на пятидневку!

Нет, это невозможно. Решила быть твердой — надо быть твердой до конца.

— Это не ребенок, а наказание! В Сибирь его ссылают! Собирайся, не выводи мать из себя! — ору я таким страшным голосом, что самой становится страшно.

Едем в нашем персональном экипаже, Лариске опять подвезло, и нам заодно.

Обнимаю Антошку, а он не шелохнется под моей рукой.

— Детсад! — объявляет наш Коля, как в настоящем автобусе, только не по радио.

— Ну, мой милый, будь мужчиной, — целую я Антошку. — Все хорошо? Да? Валюшка, следи, чтобы ночью не раскрывался, у него манера ногу высовывать, а у вас сквозняки.

— Не беспокойтесь, мамаша! — Валюшка выпрыгивает из автобуса и профессионально командует: — Дети! Взялись за руки! Пошли!

Повели наших мальчишек…

— Ну? — дорывается наконец до вопроса, который ее давно мучил, Лариска. — Так ты это серьезно?

— А что?

— Нашла — любовь…

— Любви, Лариска, вообще нет, а он — единственный, кто об этом честно говорит.

— Ну, мать, с тобой не соскучишься, — только и может вымолвить Лариска и молчит всю оставшуюся дорогу.

Вечером, после работы, я привела квартиру в идеальный порядок, частично переставила мебель, создала уютное освещение, надела новое платье, туфли на каблуке и села ждать.

Вот и звонок в дверь.

Иди открывай, пути назад нету.

На пороге стоит Вениамин, с маленьким чемоданчиком, почему-то в теплом пальто, хотя до морозов еще далеко. Основательно собрался, надолго.

— Здравствуйте…

Вид у Вениамина все-таки растерянный. Но я все успела продумать, и голова у меня работает четко, как часы.

— Здравствуй. Раздевайся. Это все твои вещи?

Он поставил чемоданчик аккуратно в угол прихожей.

— В основном. Бумаги, книги, материалы к диссертации…

— Проходи.

Мы проходим в комнату.

— Садись.

— Где?

— Где хочешь. Ты же дома.

Он осторожно присел на краешек дивана.

— Да, действительно. Трудно сразу, понимаете… У вас как-то по-новому. Перестановка.

Я достаю из бара бутылку, ставлю рюмки. Наливаю:

— За новоселье!

Вениамин берет рюмку, смотрит на меня:

— За вас, Оля. Вы удивительная!

Глядит на меня, глядит — и не пьет.

— Вениамин, может быть, вы считаете, что я зря позвонила? В таком случае…

— Что вы? Просто я не думал, что так на самом деле бывает. Я, понимаете, Оля…

— Вы хотели за меня выпить.

— Да… — Выпил. — Это что такое?

— Ликер. А что?

— Вкусно, — расслабился, вроде полегчало. — Понимаете, Оля, обычно мы говорим миллион слов, и каждое исполнено смысла и значения — но они куда-то уходят, растворяются в суете…

— Я все хорошо помню. Могу повторить.

— Что вы! Я тоже помню. Поэтому я и приехал, не думая. Хотя мама и устроила мне скандал.

— У тебя хорошая мама?

— Мамы все хорошие. Плохих не бывает.

Вот этого тебе не следовало бы сейчас говорить. Сразу вспомнилось сегодняшнее утро, Антошкины глаза…

— Правда вкусный ликер, — меняю тему. — Еще выпьем?

— Выпьем!

— И давай — на «ты»! Надо ведь с чего-то начинать нашу жизнь.

— Все это похоже на сон. — Он выпил рюмку. — Что, надо поцеловаться?

— Непременно.

Робко клюнул в щеку, сел, молчит, трет ладонями вытертые джинсы.

— Знаете… Знаешь, врежем еще этого ликера!

— Врежем.

— Нет, я сам налью. Все-таки я мужчина! И скажу тост. Понимаешь, я дожил до тридцати шести годов и всегда был человеком, которому некуда спешить. Не спешил в работе, не спешил взрослеть, набираться ума, регалий, богатства — и все потому, что у меня не было главного: дома, в который мне хотелось бы спешить. И вот я обрел этот дом…

— Кстати, — говорю я, вставая, — давай я тебе сразу покажу, что в этом доме где. Это, как ты понял, гостиная, она же спальня. Теперь иди сюда — тут Антошкина комната. Вот здесь, смотри, в стенном шкафу — эти полки я для тебя расчистила, можешь положить вещи. Ну, туалет, ванная.

Там — кухня.

Он покорно бродит за мной по квартире. Возле кухни потянул носом:

— А чем так пахнет вкусно?

— Едой. Ты голодный?

— Я… вообще, не…

— Сейчас будем ужинать. Извини, секунду. — Отправляю его в комнату, сама остаюсь на кухне.

Оглядела еду — ничего. Нравится. И я себе нравлюсь пока; главное сейчас — посторонних мыслей не брать в голову.

Ужинаем в комнате, парадным образом, с салфетками в салфетницах. Кофе с мороженым на десерт.

— Ну как?

— Изумительно.

— Каждый день я тебе, конечно, такого ужина не обещаю.

— Все равно — ты прекрасная хозяйка! Обычно женщины сейчас почему-то этого стыдятся, а почему? Женщина должна быть женщиной, и прекрасно, что ты это понимаешь, и это подарок судьбы, что я тебя встретил, именно такую. Настоящую русскую женщину, из тех, понимаешь, что и коня на скаку, и в избу, и в Сибирь за декабристами…

— Я не хочу в Сибирь, Вениамин. Нам и здесь, надеюсь, будет неплохо. Подожди… я сейчас.

Выпорхнула деловито в Антошкину комнату. Так было задумано. Сняла парадное платье, переоделась в уютный халат, талию затянула поясом…

Он стоит у полки, уткнув нос в раскрытую книжку, очки на лбу. Оглянулся:

— Какое красивое платье! Вечернее?

— Это вечернее платье называется домашний халат, — села я на тахту, поджав под себя ноги. — Теперь тебе придется видеть меня не только при параде. Привыкай! Садись сюда, я тебе еще что-то расскажу.

Вениамин с книжкой расстался, по-моему, с сожалением и сел, куда велели.

— Значит, жить мы с тобой будем так. Утром я буду тебя кормить и уходить на работу, а ты будешь работать дома над своей диссертацией. Для работы тебе нужен кабинет.

— Что ты! Я могу на кухне.

— На кухне будем я, телевизор и телефон, чтобы не мешали. А здесь будет твое царство. Купим тебе письменный стол, а для начала займем у Антошки.

— Я на любом могу. Кстати, — вспомнил он, — где же твой сын?

— Он… Он будет, но не сразу. Вы должны друг к другу привыкнуть.

— А я очень люблю детей, и они меня, потому что во мне, наверное, что-то есть еще детское. Это его фотография? Очень похож на тебя, значит, мы с ним наверняка подружимся. Он в каком классе?

— Он в саду, ему еще пятый годик.

— Я его читать научу. Хорошие книжки. Знаешь, как важно, чтобы ребенок начал именно с хороших книжек. А какие будут зимние долгие вечера — когда мы все вместе! У нас часто будут гости, да? И мы будем их вкусно кормить, разговаривать, спорить, да? Волшебная будет жизнь, — мечтательно произнес он и даже глаза закрыл.

— У меня тоже есть тост, — сказала я.

Вениамин, помня о своих мужских обязанностях, тотчас наполнил рюмки, и я взяла свою:

— Я хочу за твои слова выпить: что любовь, и уважение, и долг — это приходит потом, а главное — поверить и начать. Наверное, это самое правильное в наш век. Поэтому давай выпьем за завтрашнее утро!

Он поднял рюмку, но удивленно спросил:

— А почему за утро?

— Потому что утро — это будет уже продолжение. И потому что утро вечера мудренее. И потому что пора идти спать.

Мы выпили наш ликер, и я встала.

— Вообще-то я совсем еще спать не хочу…

— Вставать рано. На Антошкиной тахте ты не поместишься, я тебе у него раскладушку поставлю.

Он говорит как будто с облегчением:

— А я обожаю раскладушки! Я полжизни на раскладушке проспал, комната у нас с мамой, понимаешь, крохотная. Раскладушка, раскладушка, друг мой с детства дорогой! — прямо-таки запел он, когда я с грохотом вытащила скрипучую раскладушку, и радостно принялся помогать ее устанавливать. Принесла постельное белье, одеяло, заняла у Антошки подушку.

— Смешной ты… Ну ложись. Спокойной ночи.

Оставила Вениамина с его раскладушкой, постелила у себя и легла.

Он, слышу, поскрипел раскладушкой и затих.

И я лежу тихо, не шевельнусь, замерла. Часы тикают, сердце стучит…

И гробовая тишина в соседней комнате. Бесконечная. Умер он, что ли?

Лежу, лежу — не выдержала, встаю, запахиваю халат и иду к нему.

Смотрю с порога: сидит на незастеленной раскладушке одетый, курит, лицо какое-то смятенное. Увидел меня:

— Тебе тоже не спится?

Совсем нехорошее лицо. Я спрашиваю:

— Тебе плохо?

— Мне прекрасно… Что ты.

Я села напротив него на стул.

— Вениамин…

— Да?

— Тебе плохо? Что-нибудь не так? Скажи!

Он чуть покачивается, обхватив ладонями локти.

— Как тебе сказать… Понимаешь…

— Не понимаю. Ты скажи.

— Все так… Просто никак не осмыслю твое решение… Всю меру нашей общей ответственности. Ты ведь искренний человек и честный, да?

— Веня, ты о чем?

Он раскачивается все сильнее, и раскладушка под ним скрипит. Посмотрел на меня и произнес как-то жалобно:

— Скажи… Ты правда решила?

— Что?

— Вместе… Навсегда…

Я поднялась. Он, словно боясь, что не дослушаю, говорит торопливо:

— Прости. Я действительно должен побыть один, собраться, осмыслить. Так много всего в один вечер. Ты сама сказала: утро ведь вечера мудренее?

— Ну стели, ложись. Спокойной ночи.

Оставила Вениамина с его раскладушкой, постелила у себя и легла.

Он — слышу — тоже поскрипел раскладушкой и затих.

И вдруг хлопнула дверь.

Вскакиваю — нет Вениамина. Испарился. И чемодана в прихожей нет, и зимнего пальто.

Стою посреди коридора и уже совершенно ничего не могу понять. Что-то ведь надо понять, совсем простое, а не могу.

Господи! Вот рожа-то глупая в зеркале!

И тут вдруг смех меня забирает, остановиться нет никакой возможности. Хожу по квартире и валюсь от хохота.

Валюсь на тахту, набираю Ларискин телефон.

— Лариска! Не спишь?

— Нет. А что ты ржешь? Алло! Чего ржешь, ненормальная? — И сама уже смеется. — Алло! Витамин был?

— Был. И весь вышел. Приходи, будем ликер допивать! — бросаю трубку — и хохочу…

И снова со мной мой сынуля, мой бурундучок, мой солдатик при сабле и доспехах. Мы помирились на всю жизнь. Нам хорошо и весело вдвоем, и солнышко светит, и за окнами плывут осенние поля. Мы едем на электричке в Приозерск к моим родителям, к его бабушке с дедушкой.

Дом на улице Дачной, номер 20, старый наш дом с палисадником, из которого я отчалила в самостоятельную жизнь вот уже двенадцать лет назад. Соседские старушки на лавочке со мной чинно поздоровались. Просовываю руку к щеколде, отпираю калитку, поднимаюсь на крыльцо.

Встречает нас отец, загорелый, моложавый, несмотря на свои шестьдесят пять, старая рубашка хаки без погон вся забрызгана белой краской.

— Это кто к нам явился? Что за солдат, какого полка?

— Здлавствуй, деда!

— Не по форме. Как я учил?

— Здлавию жела… вию!

Антошка взлетает на его сильные руки, отец целуется со мной.

— Витька приехал, мы ремонт затеяли.

Витька, брат, стоит в такой же, как у отца, рубашке хаки, весь заляпанный, с кистью под потолком:

— Привет, чувырла.

— Привет, амбал.

— Детей нарожали, а ума не прибавили, — с укором констатирует отец. — А Витька у нас со вчерашнего дня — капитан!

— Капитану, — достаю я из сумки бутылку.

— Опять навезла? — отец сердится, но тем не менее заглядывает с любопытством в сумку, из которой я достаю гостинцы. — Ну даешь: огурцы! Мать их целую кадушку уже насолила.

— А где мама?

Лицо отца мрачнеет, он ссаживает Антошку на пол.

— В церковь отправилась. Совсем твоя мать с ума спятила. За двадцать километров в автобусе ездит, это надо придумать…

— Деда, а что такое целковь?

— …а мне как прикажешь к этой блажи относиться? Офицеру!

— Ты же в отставке, — отвечаю я примирительно.

— Из партии меня никто не отставлял. И сын у нас не в отставке!

— Да ладно тебе, отец. — Витька спустился, стоит у порога, вытирает руки, вид озабоченный. — Так что… я за Нинкой сбегаю?

Ох, живу я — от застолья к застолью, разгулялась девушка. Пришла от соседей Нинка, жена Виктора, грудастая, щекастая, всего много, улыбка — за уши завязывай, разделали мы мою городскую закуску на кухне, вдарили по стопарю, пока матери нет, и пошел у нас задушевный разговор.

— Во что верит? — горячится отец, с первой же рюмки раскрасневшийся. — Что она об этом знает? Где этому ее Богу есть доказательства?

— Вообще, вера доказательств не требует, — замечает Витька.

— Ты, оппортунист, молчи. Грехи решила на старости лет замаливать!

Тут Нинка возмущается, горячо и шумно:

— Ну, это вы глупости говорите, Николай Митрофанович. Какие грехи? Когда нам, работящим женщинам, грешить? Господи, и рада бы согрешить, да некогда! — И на всякий случай толкает Витьку в бок: шутка.

— Ты своих троих родила и сиди, не о тебе речь. А вот ты, — это уже мне, — допрыгалась в своем Ленинграде.

— Здрасьте.

— Вот тебе и до свиданья.

— До чего это я допрыгалась?

— А подумай. Как живешь?

— Да ладно тебе, отец… — Виктор тянется к бутылке.

— Нет, Витька, подожди, как я живу?

— Филиппу зачем дала уйти?

— Отец, да ладно, сколько можно об этом…

— Что же мне, за хвост его было держать?

— Действительно! — возмущенно вздыхает Нинка.

— Женщина захочет — за что хочешь удержит.

— Ну вы даете, Николай Митрофанович!

— Отец, ты того… Больше майору не давать.

— Жила бы как все люди, полной семьею.

— Значит, важнее, по-твоему, казаться, чем быть?

— Путем надо жить. А вот с этой самой философии… — И вдруг от суровости отца не остается и следа. — Наш генерал явился!.. — А на лице появляется радостная, но вороватая улыбка. — Здравия желаем, товарищ генерал!

На пороге кухни стоит мама. В строгом, черном платье, тоже удивительно молодая, без единой морщинки. Вся благостная и отрешенная, что не мешает ей мельком и с презрением оглядеть наш стол.

Она молча уходит в комнату, и я вижу, как там крестится на иконы, потом возвращается, уже сняв платок.

— Антошка почему без куртки бегает?

— Тепло, мама!

— Антон в деда, солдат! — бодро заявляет отец, но глаза у него беспокойные.

— А ты, солдат, уже прикладываешься?

— Так дочка же приехала, как же… Под такое дело!

— Из стаканов, без скатерти, креста на вас нет. Надолго к нам?

— До завтра.

— Значит, завтра на рыбалку махнем! — подхватывает отец. — Витька, как насчет рыбалки?

Заговорили, заспорили о чем-то, мне непонятном.

— Здравствуй, дочка.

— Здравствуй, мама.

Мама глядит на меня, а я гляжу на маму.

— Все одна кукуешь?

— Все одна, слава богу.

Не верит, что слава богу, глаза печальные.

Мама, ты вовсе не строгая, а самая добрая и понимающая на свете. И тепло от тебя родное, и запах, знакомый с детства. И так бы стоять с тобой, обнявшись, долго.

— Выживу, мама, не бойся.

Не повезло больше Антошке. Единственная рыбка приехала домой в банке, и что самое интересное — живет, плавает по кругу, тычется носом в стекло.

А Антошка спит, усталый и счастливый.

Я прикрыла к нему плотнее дверь и села за телефон. Узнать, что нового в доме.

— Лариска? Привет. Ты одна?

— Валюшка у меня. — Голос у Лариски взволнованный. — Тут такие события, скорей поднимайся.

Поднимаюсь. Валюшка сидит на тахте вся зареванная, под глазом держит рубль, а под рублем — синяк.

— Представляешь! Он ее избил!

— Как тварь! — подхватывает, всхлипывая, Валюшка. — Я прошу: только, пожалуйста, в лицо не бей, как я в саду покажусь? А он… Как тварь!

— А что случилось?

— Приревновал, видите ли, отелло с клюшкой!

— Я ему честно сказала: была на дне рождения, у Лариски можешь спросить, а он…

— Кто тебя за язык тащил? — говорит Лариска.

— Чего же мне было врать, если ничего не было? Он спрашивает: танцевала? Я говорю: подумаешь, всего два раза с одним мальчиком. А он: провожал? Я говорю: подумаешь, всего до остановки, а он… Как тварь! — снова захлебывается Валюшка от этого жалостливого слова.

Я сажусь рядом, глажу ее кудряшки.

— Дура ты у нас, Валюшка. Ты Сашку знаешь, зачем лезешь на рожон? Ври во спасение.

— А еще лучше — бросай его, подонка! — вышагивает по комнате Лариска. — Было бы от кого терпеть. Уже давно ежу ясно, что он как спортсмен не состоялся.

— Я его боюсь…

— Убьет он тебя, что ли?

Валюшка уверенно, почти восторженно кивает:

— Убьет! Ты бы видела, какие у него глаза были! Белые!

— Вообще, такой может убить, — подумав, соглашается Лариска.

— Он столько всего в жизни пережил, у него такой характер взрывной, неустойчивый, — удобнее прилаживая рубль, рассказывает Валюшка. — И столько интриг в команде вокруг него, что он сейчас все может, он… Ой! — вдруг переходит Валюшка на шепот, и глаза у нее от страха округляются. — Это он!

И мы тоже замираем, потому что в прихожей звенит звонок.

— Не открывай… — одними губами лепечет Валюшка.

— А если не он?

Звонок звенит настойчиво. Мы все на цыпочках подкрадываемся к двери.

— Кто там? — не выдерживает Лариска.

— Ларис, Валюшка у тебя? — Он.

— Ты с ума сошел. Я сплю.

— А где она?

— Я почем знаю.

— Открой на минуточку.

Заминка. Валюшка шепчет:

— Скажи, не одна…

— Я не одна.

— Брось врать, с кем тебе быть?

— Ты что — дурак? — Лариска вдруг обиделась.

— Я же слышу ее голос. С кем она у тебя?

— Сказано — ни с кем!

— Значит, так. Или открываешь, или я ломаю дверь.

Пауза. И вдруг — страшный удар по двери, вздрогнула вся квартира, качнулся кувшин на полке.

— Ненормальный! Хулиган! Я милицию вызову!

Бум!.. — еще удар.

Валюшка в ужасе бежит в комнату, мечется, прикладывает ладошки к щекам:

— Он сломает, правда сломает… Знаешь, сколько в нем весу?

Снова вздрагивает квартира. Мы мечемся по комнате.

Лариска — в прихожей:

— Паразит, кто мне дверь чинить будет!

— Может, правда вызвать милицию? — шепчу я.

— Да ты что! — ужасается Валюшка. И, приняв отчаянное решение, подбегает к двери. — Сашка, перестань немедленно, слышишь? Ларискина дверь тут ни при чем!

— Тогда выходи, — голос за дверью.

— Не выйдет она! — выталкивает Валюшку из прихожей Лариса. — И вообще больше не ходи, не желает она иметь с тобой никаких отношений! А ты, дура, если выскочишь…

— Да ты что, ни за что, клянусь!

Бум!.. Страшнее прежнего. Валюшка принимает новое решение:

— Надо звонить Герберту, он его послушается, пусть приедет…

— В Москву? Он же москвич.

— Да нет, он здесь, выставку готовит.

— Есть телефон?

Валюшка лихорадочно листает записную книжку.

— Вот…

Бум!..

— Да что же он! — Валюшка в сердцах бросает книжку и опять бежит к двери. — Сашка, у тебя ключица травмирована, тебе нельзя, перестань сейчас же!

Бум!..

— Прекрати, гад, у меня ребенок спит!

Бум!..

Надо действовать. Нахожу в книжке телефон, набираю.

— Герберта Мартыновича. Здравствуйте, Герберт. Это Оля, подруга Вали, девушки Саши. Необходимо, чтобы вы срочно приехали. Ваш приятель ломает дверь. Валя говорит, что он вас послушает. Вы можете приехать?

Легкое недоумение, но ответ четкий:

— Да, конечно.

— Адрес помните?

— Конечно да. Я сейчас буду.

От очередного удара затрещала дверь. Но и за дверью вдруг наступило затишье. Прислушиваемся.

— Ч-черт…

— Саша! Ты ушибся?

Молчание.

— Сашенька!

— Иди отсюда, дура, — шипит Лариска.

— Сама дура! — взрывается Валюшка неожиданно. — У него ключица! И вообще — заведи своего мужика, им и командуй!

И, сметая ошеломленную Ларису, открывает дверь, выскакивает на площадку.

Сашка сидит в углу на полу, держится рукой за плечо, зубы стиснул, лицо бледное.

— Что же ты, глупенький? Больно? Разве тебе можно? Ну вставай…

— Отвали.

— Очень больно? Можешь идти? Сашенька… Ну скажи?

— Отвали от меня, сказал.

— Вставай, пожалуйста. Вот так… Осторожно, ступенька.

Полюбовавшись этой милой картиной, возвращаюсь к Лариске. Та свирепо захлопывает дверь. От этого удара падает наконец с полки и разбивается кувшин. И я вижу слезы на Ларискиных глазах.

— За что? Тысячу раз зарекалась: в ваши дела не вмешиваться. За что она меня?

Ну вот, теперь надо Лариску успокаивать. Я обнимаю ее, глажу по голове.

— Ну дура, озверела от любви. Ей же хуже. Зато я у тебя умная-разумная, никто нам не нужен, и сейчас мы с тобой за это выпьем.

— Нету…

— Ну чаю!

Не успела спуститься от Лариски домой — торопливый звонок в дверь.

— Кто?

— Оля?

— Да…

— Это Герберт.

Действительно, Герберт стоит на пороге. Такой же, как в тот раз, подтянутый, только сегодня без галстука. И я вспомнила…

— Господи, — всплеснув руками, говорю я. — Извините, ради бога! Я вам отзвонить забыла, что все уже уладилось…

Он успокоил:

— Ничего. Нет проблем.

— Ой, как нехорошо получилось… — Я дергаю чертов выключатель, который в своем репертуаре. — Если честно, я вообще не очень надеялась, что вы приедете.

— Вы ведь просили.

Вот, еще и обидела человека. Нескладная ситуация.

— Может, хотите чаю? — спрашиваю я. Тут свет наконец зажегся.

— Спасибо. — Герберт посмотрел на выключатель. — А от вертка у вас есть?

— Не знаю…

— Или нож.

Принесла ему из кухни столовый нож. Он встал, сняв туфли, на табурет, что-то поковырял в выключателе и дернул шнур. Погасло с первого раза. И загорелось — с первого.

— Извините. — Он возвратил нож. — Не выношу, когда техника не в порядке.

— Это вы извините, — лопочу я, все переживая и разводя руками. — И так ни за что сорвала вас с места, вы, наверное, уже отдыхали.

— Это был телефон на выставку. — Он спустился, надел туфли.

— Вы так поздно работаете?

— Приходится. Скоро открытие.

— Может, все-таки чаю? Или кофе? — снова предложила я, не зная, чем еще можно быть ему признательной.

— Нет, нет. Мне нужно идти. Доброй ночи, — он улыбнулся. — Надеюсь, больше чепэ не будет.

— Заходите к нам просто так, — говорю я, провожая его к двери. — Без всяких чепэ! Лариса будет очень рада.

Он остановился у двери, поглядел на меня внимательно.

— Спасибо. Я позвоню — вам, если вы разрешите.

— Конечно! Обязательно! До свидания!

Ушел. Уехал на своей иномарке.

Надо позвонить Лариске, рассказать, какие бывают, оказывается, на свете джентльмены…

Выпал первый снег.

Я стою на краю тротуара, возле нашего института, а снег идет крупный, мокрый, пушистый, скрывая под собой зеленую еще траву. Маленькие островки остались на газоне, скоро и они побелеют.

Кто-то подошел и остановился рядом со мной. Чувствую, что Вадим. Я его всегда чувствую, за километр. Помолчал.

— Хоть поздороваться разреши.

— Здравствуй, Вадим.

— Совсем забыла старых друзей. Это как понимать?

— Понимай как хочешь.

— Значит, старой дружбе конец?

— А мы, оказывается, дружили?

Не ответил.

— Расскажи хоть, как живешь. Почти два месяца не разговаривали. Что нового в жизни?

— Я, Вадим, замуж выхожу.

— Вот оно что, — присвистнул он. — А я-то думаю, что это малыш от меня бегает…

— А ты думал, малыш всю жизнь будет за тобой бегать? — говорю я, улыбаюсь и ненавижу его в эту минуту.

— Поздравляю. Кто этот счастливец?

— Неважно. Человек, который, в отличие от тебя, хочет, чтобы я была счастливой.

— Почему, я тоже желаю тебе счастья. От всей души.

— Спасибо на том.

— Оля…

— Ну что тебе еще? Что? — резко оборачиваюсь я.

Он глядит испуганно, растерянно.

— Ничего… Хотел предложить подвезти тебя, по старой памяти.

— Спасибо, меня подвезут.

Он медленно идет к стоянке. Даже не попрощавшись. Ничуть мне тебя не жалко, ничуть. И вот моя машина показалась, белый «мерседес», и гляди, гляди ошалело, как мне открывают дверцу, как помогают сесть, перекинуть ремень и как уносимся мы по улице, разбрызгивая мокрый снег!

Едем по городу лихо. Руки Герберта в перчатках с дырочками уверенно лежат на руле, и сам он, уверенный, в строгом черном пальто ведет машину легко, сидит не шелохнувшись.

— Что за погода у вас в Ленинграде?

— Да уж такой климат.

— Ноги не промокли?

— Нет, что ты, ничего.

Мельком глянул вниз. На мои, прямо скажем, не новые сапоги — не успела ноги спрятать. Потом, не меняя позы, достал что-то из бардачка.

— Из Европы грипп идет. Закапывай по две капли в нос, по утрам.

Я разглядываю яркий пузырек.

— А Антошке можно?

— Ему — по одной. Кстати, я записал его в бассейн.

— Правда? Вот хорошо! Плавать наконец научится.

— И закалка необходима парню. Извини…

Это нам свистнули. Сворачиваем к тротуару. От перекрестка медленно, помахивая палочкой, идет милиционер.

— Момент, — говорит Герберт, спокойно выходит, а через минуту возвращается, и мы трогаемся.

— Чего он от тебя хочет?

— Уже ничего. Все о'кей.

И мы снова едем, обходя «Волги» и самосвалы. Сворачиваем в переулок, подаем куда-то задом и останавливаемся.

— Подождешь минутку?

— Конечно.

— Я быстро. Полистай, чтобы не скучать. Кажется, последний.

Сижу, листаю глянцевый заграничный журнал. Улыбаются красотки-манекенки, дамы в немыслимых туалетах пьют коктейли, супермены курят «Кент» и «Мальборо». А вот кого-то убили: взорванная машина, труп и кровь на асфальте, полицейские— репортаж на десять страниц, и ничего не понятно, все на заграничном языке.

Хлопнула дверца. Герберт бросил сверток на заднее сиденье, обошел машину, сел за руль.

— Герберт, тебе не страшно работать за границей?

— Почему?

— Там вон, видишь, всякие страсти-мордасти, террористы.

Усмехнулся. Тронул машину, потом отвечает:

— Нет. Не страшно.

Больше ничего не объяснил.

— Ты свободна послезавтра вечером?

— Да, а что?

— Будет прием по поводу закрытия выставки. Большого веселья не обещаю, но если бы пришла — был бы рад.

— Ну конечно, зачем спрашиваешь.

— И Лариску бери, Валюшку с Сашей, пусть оживляют общество. Прости, забыл, где поворот?

— Вон, дальше.

Подъезжаем к детсаду. Бегу, возвращаюсь с Антошкой. Размахивая пистолетом, он деловито забирается на заднее сиденье.

— Здлавствуйте!

— Привет, друг Антон. Как жизнь молодая?

— О'кей! — Снова едем.

— Ну-ка, давай сюда. — Не оборачиваясь, Герберт ухватывает Антошкин пистолет. Легкая борьба, пистолет в руках Герберта, а вместо него откуда-то из-под сиденья возникает автомат, да какой! И вот он в руках Антошки, окаменевшего от счастья.

— Что надо сказать Герберту Мартыновичу?

— Спасибо…

— Теперь ты оснащен самым современным оружием. Вернее, его точной копией.

— Ты его балуешь, Герберт.

— Та-та-та-та! — почти по-настоящему строчит автомат, и разноцветные лампочки загораются на нем, к упоению Антошки.

— Герберт, — говорю я, тронутая его вниманием.

— А это — тебе. — Он снова протягивает руку и достает сверток с заднего сиденья.

— Ой, что это?

Разворачиваю — новенькие сапоги. Осенние, на самом модном низком каблуке.

— Герберт, я ведь тебя просила… — щепетильное огорчение борется во мне с радостью…

— Хочешь — можешь выбросить, но я лично против того, чтобы ты ходила с мокрыми ногами.

— Ну что ты… Я просто… Конечно, спасибо.

Антошке легче относиться к жизни. Та-та-та-та — за моей спиной, в окно расстреливает прохожих, обо всем на свете забыв.

Вот и мой дом.

— Будь здоров, Антуан, — протягивает руку Герберт.

— Ты не зайдешь?

— Нет возможности. Надо вечером встречать делегацию. Утром я закину продукты…

— Герберт…

— …и абонемент в бассейн, а насчет завтрашней поездки я позвоню сегодня попозже.

Я выхожу, но Антошке выходить очень не хочется. Изобретает, что бы еще спросить, чтобы оттянуть расставание.

— А… У Лембо — такой автомат?

— У Рэмбо, это он у бабы Сони по видику смотрел.

Герберт объясняет серьезно и обстоятельно:

— Может быть. Но, видишь ли, Рэмбо — это плохой солдат, в него хорошему мальчику лучше не играть.

— Почему?

— Идем, Антон, Герберту Мартыновичу нужно работать.

— А вы кем лаботаете?

— Как тебе сказать, Антон… Немножко покупаю, немножко продаю.

— Вы плодавец?

— Идем, Антошка, — смеюсь и вытягиваю его из машины.

— Гуд бай, фрэнд Антон!

Герберт машет рукой, поднимает стекло, и «мерседес», круто развернувшись, исчезает. А мой напрочь покоренный Антон долго и восхищенно глядит ему вслед.

На церемонии закрытия выставки, где Герберт не обещал большого веселья, веселья никакого и не было.

Какие-то дядьки произносили речи про дружбу и техническое сотрудничество, про контакты и контракты, и пока это все длилось, мы с Лариской, Валюшкой и Сашкой стояли в толпе, как чужие на празднике.

Правда, я одно поняла: Герберт действительно тут самый главный и, как один оратор отметил, не будь его, никакой бы выставки не было. И ни контактов, и ни контрактов. Герберт стоял далеко от меня, в центре событий, у камер и микрофонов, затянутый в серый костюм и в бабочке. Я все пыталась поймать его взгляд, но Герберт был строгим, важным и неприступным.

Зато потом, когда церемония закончилась, отщелкали камеры, погасли прожекторы и сыграли гимн, — все как-то быстро переменилось. Толпа направилась к экспонатам, дядьки, произносившие речи, — через площадь, к гостинице Морфлота, а все остальные, которых немного осталось, — в дверь налево. За ней оказался уютный зал приемов, и мы под руководством Герберта очутились в этом зале.

Самые активные сразу же бросились к столу с выпивкой, закуской и горками тарелочек. А тем, кто остался около Герберта, — видимо, самым близким сотрудникам и друзьям, — он, взяв меня под руку, представил очень значительно:

— А это — Ольга.

И все посмотрели на меня с пониманием и уважением.

Играет негромкая музыка, гости стоят и сидят с тарелками и рюмками в разных концах зала, кто такие — непонятно, одеты разношерстно, говорят на самых разных языках, едят и пьют, и вообще — обстановка непринужденная. Только вот мое положение не очень понятное. Вроде бы я здесь такой же гость, как все, а вроде бы и хозяйка — во всяком случае гости после заявления Герберта, кажется, так меня воспринимают. Сам Герберт расхаживает среди гостей с рюмкой, ободряюще улыбается мне издали, и я улыбаюсь ему, улыбаюсь гостям направо и налево. Вот Лариска — та поразительно быстро здесь освоилась: дымит, тянет коктейль, что-то наступательно втолковывает бородатому итальянцу.

Улыбаюсь ей, улыбаюсь ошалевшему бородачу.

А Валюшка грустная, насупившись, сидит в углу, делает вид, что глядит журнал. А сама напряженно следит за Сашкой, который нетвердой походкой, но сияя как самовар, несет через зал стакан с джусом какой-то коротко стриженной диве.

— Валюнчик, мой хороший! Ау! — приветливо подхожу я.

— Ну как можно быть таким неустойчивым?. — в отчаянии отзывается Валюшка. — Ведь все было так хорошо! Он опять не режимит. Опять набрался, ты посмотри! А эту курицу щипаную я сейчас убью…

— Сиди, не дергайся, я сама ее прикончу, — говорю я и направляюсь разрушить Сашкин альянс — но по пути встречаюсь с Гербертом, и он незаметно берет меня за руку.

— Ну как? Очень скучно?

— Люди незнакомые. А вообще…

— Идем. — Он тянет меня за собой. — Сейчас момент, когда их можно пустить на самообслуживание.

Мы выходим в выставочный павильон, Герберт открывает одну из стеклянных дверей, пропускает меня в небольшую комнату. Дверь закрывается, и сразу становится тихо. Рекламы, проспекты, каталоги, кофеварка, напитки в зеркальном баре. А кресло мягкое, сразу утопаешь в нем.

— У тебя здесь уютнее.

Он чуть расслабил ворот рубашки.

— Там — для всех, здесь — для себя. Кока, джус?

Наливает сок в высокий стакан, щипцами аккуратно бросает лед.

— Как в кино, — говорю я.

— Профессиональные навыки.

Чокаемся на расстоянии стаканами с джусом.

— Я знаешь где родился? Не поверишь. На острове Цейлон. Ныне Шри-Ланка. Отец там консулом работал. С восьми лет жил в Союзе, закончил ЛЭИ. Но видимо, гены предопределяют судьбу — опять попал за рубеж. Можешь иронизировать, но я люблю свою работу. Не могу без нее. Как альпинист без гор. Не могу без этой самой «загранки». И снова поеду, сегодня решилось.

Он поймал мой взгляд, задержавшийся на рекламном плакате с иностранными надписями и с видом большого дома на берегу озера, подошел к нему.

— Женевское озеро. Наше представительство. А вон, на третьем этаже, шесть окон справа — мой офис и моя квартира. И твоя. Если ты решишь…

Я вздрогнула, хотя каждый день ждала этого вопроса.

— А что… Уже нужно решать?

— Я тебя не торопил, но обстоятельства торопят. Во-первых, выставка закрылась, я возвращаюсь в Москву. Ты должна поехать со мной, нужно успеть подать заявление в загс, бумаги на оформление. Если я еду в Женеву… с женой…

— А во-вторых?

— Во-вторых, в Москву послезавтра приедет из Лондона мой отец. Он бывает дома не так часто.

— И что?

— Это замечательный человек. Не потому — что он мой отец и один из лучших дипработников. Он просто умница — поверь. Он один разглядел, что моя… бывшая была дрянь. Но не в этом дело. Теперь я сам поумнел и хочу, чтобы он знал это. Таких счастливых билетов, как ты, дважды в жизни не вытягивают. И я хочу знать, могу ли я представить отцу тебя как свою невесту и мать его будущего внука.

Не по себе мне. Может быть, оттого, что сквозь спокойный тон Герберта, сквозь его обычную сдержанность сейчас явно проступает непривычное волнение. Таким я его никогда не видела.

— Герберт, милый… Я еще не готова.

— Я понимаю и уважаю это. Но когда?

— Это не так просто… Скажи, только честно. А ты меня любишь?

В его взгляде мелькнула обида.

— Сказать — для тебя значит больше, чем доказать?

Ох, не мучай меня, не мучай…

— Герберт. Ты внимательный, добрый, великодушный, я это очень ценю. Но будь великодушным еще немного. Я обещаю тебе ответить, очень скоро.

— Когда?

— Завтра…

— О'кей! — сказал он и улыбнулся. — Теперь время вернуться к этим чертовым гостям. — Встал и снова затянул свой воротничок.

Вышли к народу. Герберт оставил меня и направился провожать бородача. Гостей в зале заметно поубавилось. Сашка пропал, стриженая тоже. А где же Валюшка? Не видно. Пошла искать, и меня, как танк, чуть не сшибла Лариска:

— Валюшку не видела?

— Не видела. Может, с Сашкой ушла? Подожди, — останавливаю я ее, и по моему лицу Лариска сразу же замечает мою душевную маету.

— Ты что, Ольгунька?

— Лариска. Я должна дать ответ.

— Ну и?

— Я не могу.

— А какой еще может быть ответ? — заявляет Лариска безапелляционно. — Конечно — да.

Я удивленно гляжу на нее:

— А почему да?

— А почему нет?

— Потому что за границей работает? Потому что Женева, озеро?

— При чем здесь это? Хотя данный факт, конечно, тоже с баланса не сбросишь. Поедешь, мир поглядишь. А главное, — говорит Лариска, — это то, что он — настоящий мужик!

— А другие не настоящие?

— А что другие! Что они умеют: ля-ля, тополя, пришел-ушел, «не грусти, малыш». А за Гербертом вы с Антошкой как за каменной стеной будете. Ты смотри, какой он умный мужик: где бы тем, другим, разглядеть, что рядом с ними живет баба, красивая, молодая, с которой счастлив будешь по гроб жизни: все у нее для этого есть — и опыт, и ум… Даже ребенок есть уже готовый, пеленки стирать не надо! И ласки вагон нерастраченной. Только все это в замороженном виде — приходи, отогрей вниманием, и не надо ста тысяч выигрывать. Так кто-нибудь из других-то это разве разглядел? А твой Герберт еще в первый вечер усек. Поэтому иди за него, не раздумывай, а что мы с тобой про женскую самостоятельность говорили — наплевать и забыть! — закончила Лариска свое удивительное выступление.

Только мне почему-то от ее справедливых слов жизнь не стала яснее и вопросов не убавилось.

— Ох, Лариска, легко тебе со стороны…

— А я могу и не со стороны, — отважно заявляет Лариска. — Будешь долго раздумывать — сама на него глаз положу. Учти!

Вернулась домой. Переоделась, платье висит на плечиках, туфли сиротливо стоят рядышком. Антошка сегодня у Софьи ночует, и нет без него привычной, успокоительной суеты. Тоска зеленая, маета, хожу по комнатам, хочу чем-нибудь заняться, все из рук валится, а ноги сами ведут к телефону.

Набираю Валюшку — номер не отвечает, Лариске звонить нечего, поговорили. Да и совсем не тот мне номер нужен… Набираю его, запретный. Женский голос в трубке:

— Алло!

Молчу.

— Алло!

Тянусь пальцем нажать на рычаг — и вдруг:

— Девушка, подождите, не кладите трубку! Я догадываюсь, что это — вы. Пожалуйста, не кладите! Это жена Вадима. Я не знаю, как вас зовут, но это ведь вы? Да?

Я так и застыла с пальцем на рычаге.

— Это вы. Я знаю, как вы молчите. Знаю, что у вас роман с Вадимом, и давно. И что вы моложе меня, лет на десять, да? И красивая. Он бы себе не позволил некрасивой. Как он вас называет — «малыш»? Алло! Вы слушаете? Значит, вы любите Вадима? Ну так берите! Милая девушка, я ведь его не держу. Просто мы с ним двадцать три года вместе. Это уже, наверное, что-то другое, больше чем любовь. Во всяком случае, сильнее… Не верите? Жалеете меня? А вот жалеть меня не надо. Вы мне не соперница, разве что товарищ по несчастью.

И гудки в телефонной трубке.

Начинается наше с Антошкой утро, обычное, как всегда. Это день сегодня будет необычный. А пока беготня, ворох перемеренной одежды, почти собранная сумка, зеркало, фен на волосах…

— Мама, а Гелбелт Малтынович сколо плиедет?

— Скоро, скоро.

— Мам!

— Ну что еще?

— А у Гелбелта папа тоже плодавец?

— Ты бы лучше «эр» скорее научился выговаривать.

— Почему?

— А то Гелбелт, Гелбелт. Может, теперь тебе придется каждый день это имя говорить.

— Почему?

— Потому. Может… мы с ним вместе жить будем, — Заглядываю осторожно на кухню, проверить, какая реакция.

— А иглушки он будет далить?

— Будет.

— Ул-ла! А когда?

Вот тебе и вся реакция. Продажная вы душа, Антон Филиппович.

— Когда, когда… Когда у пруда без труда расцветет резеда!

— А когда — у плуда… без тлуда…

— Когда ты «эр» научишься выговаривать и не будешь задавать глупых вопросов!

Звонок в дверь. Лариска и Валюшка. Лица похоронные, у обеих глаза красные, заплаканные. Правда, у Лариски еще и от насморка, простудилась вдобавок ко всем печалям. Валюшка вообще как в воду опущенная. У нее Сашка пропал, и есть подозрение, что с той самой, стриженой.

Оглядывают мою сумку и наряд:

— Что, вот в этом и поедешь?

— Ага.

— Что-то уж больно затрапезно.

— Не сбивай меня, Лариска, я уже все перемерила и решила, поеду в чем всегда хожу.

В последний раз останавливаюсь перед зеркалом: белый свитерок, брюки — по-моему, все правильно.

— Он же тебя отцу будет показывать, всяким там родственникам, начальству. Ч-хи! — надрывно, со слезой чихает Лариска. — Сережка заразил. Это все, Валюшка, ваши сквозняки в саду. Хочешь, дам тебе мое серенькое, с воротничком, помнишь?

Еще звонок.

— Плиехал! — пулей вылетает из кухни Антошка. Но это телефон звонит. Беру трубку, замираю.

— Алло! Это я. Малыш, нам нужно встретиться. Ты меня слышишь? Алло! Почему молчишь?

Кладу трубку обратно на рычаг. Не было звонка, и ничего я не слышала.

У Лариски с Валюшкой спор из-за платья.

— С ума сошла — серенькое.

— А что? Нарядное.

— Ольгунька все правильно решила: если они умные люди, встречать будут не по одежке. Когда? — произносит Валюшка самый волнующий вопрос.

Я — само спокойствие, вношу, стоя у зеркала, последнюю поправку в косметику.

— К половине подъедет. Десять часов по шоссе до Москвы, повидаемся с отцом, подадим бумажки, и… — я оборачиваюсь с беспечной улыбкой к подругам, — конец, девочки, вольной жизни!

Но никто в ответ не улыбается, и мне бы надо согнать эту ненужную улыбку с лица, но почему-то не сгоняется, заклинилась.

— Просто я сейчас вдруг представила: вот бы его папашке с моим папашкой познакомиться!

— Смешно, — хмуро говорит Лариска. А Валюшка и вовсе вдруг разревелась.

— Чего ты? — обнимаю я ее.

— Мне кажется… Я подумала, — рыдает Валюшка, уткнувшись мне в плечо, — что мы больше никогда не увидимся…

— Ну что ты такое говоришь? Умру я, что ль?

— Это я умру. — И слезы ручьем. — У меня предчувствие.

— Ну почему, почему?

— Жить не хочется…

— Вот дура, — сморкаясь, сипит Лариска. — Свет у нее клином сошелся на этом обалдуе. Ну умрешь, а с кем мы девичник перед свадьбой будем устраивать? Ты, Олька, учти, мы тебя просто так не отпустим и на свадьбу все в Москву прикатим, верно, Валюшка?

Валюшка виновато хлюпает, кивает, размазывает слезы кулачком, силится мне улыбнуться.

— Девочки. — И нет у меня больше слов, чтобы сказать дорогим подругам все, что я хотела бы им сказать. — Девочки…

— Плиехал! Плиехал!

Вот теперь — правда. Антошка с подоконника увидел машину, и на часах — ровно половина.

И сразу начинается суета и беготня по квартире. Антошка схватил свой автомат, Лариска надевает на него куртку, автомат мешается, а Антошка ни на секунду не хочет с ним расстаться, рвется к дверям. Валюшка уже на пороге стоит с моей сумкой.

— Да подождите, ненормальные! — кричит Лариска. — Вы что — нерусские? Присесть надо на дорогу!

Садимся где кто был, в разных концах комнаты. И лица сразу у всех становятся серьезными и значительными, даже у Антошки.

— Ну, — вздохнув, встает Лариска. — С богом!

Лариса перекрестилась. Все поднимаются и идут к дверям.

Одна я продолжаю неподвижно сидеть на краешке тахты.

Они заметили это только в прихожей. Вернулись обратно. Глядят.

— Ты что? — забеспокоилась Лариска.

— Ольгунь… ты что?

Я медленно, словно потяжелела за секунду, поднимаюсь.

— Ничего… Иду… Иду.

Бежит под колеса нашего «мерседеса» шоссе Ленинград-Москва, мелькают километровые столбы, дорожные знаки, остаются за бортом тихоходные трейлеры, проплывают церквушки на пригорках. Ясное осеннее утро, бодрая музыка из автомобильного кассетника.

Руки Герберта в перчатках, как всегда уверенно, лежат на руле. Я сижу рядом.

На заднем сиденье, рядом с моей сумкой, расположился Антон, неразлучный со своим автоматом.

Молчим — в машине царствует музыка.

Герберт иногда коротко поглядывает на меня, словно удостоверяясь, здесь ли я и все ли со мной в порядке. Со мной все о'кей. Я спокойно сижу в удобном кресле, гляжу на бегущую дорогу, а грустно мне или радостно — мое лицо тебе не расскажет, и знать тебе ни о чем не надо. Обычное, по-дорожному никакое лицо.

— Хочешь кофе?

— Да, если не трудно.

Достаю термос. На мне — обязанности бортпроводницы: налить из термоса кофе и передать Герберту, который его выпьет мелкими глотками, не спуская глаз с дороги. Улыбнуться в ответ на его благодарную улыбку, прикрыть ветровое стекло, оглянуться и проверить, как дела у притихшего Антошки, улыбнуться ободряюще ему. Что еще… Достать из сумки на заднем сиденье косметичку: быть красивой — тоже обязанность бортпроводницы.

И вдруг, сверх программы, нет, не сверх, а по какой-то другой, невероятной, но в глубине души предугаданной и ожидаемой программе, я увидела в заднем стекле…

…как потрепанный, до боли знакомый «жигуленок», мотаясь по шоссе от невероятного напряжения всех своих лошадиных сил, готовый вот-вот разорваться от отчаянной скорости, лавируя между автобусами и грузовиками, медленно, но верно догоняет нашу иномарку…

Я застываю, не сводя глаз с «жигуленка».

Он совершенно необъяснимым образом настигает нас, обходит, подрезая спереди, и Герберт едва успевает увернуться на обочину.

— Черт… Хулиган! — Герберт резко тормозит.

И «жигуленок» останавливается впереди, занесясь поперек дороги. А из него выскакивает решительный и страшный, в распахнутой куртке, Вадим.

И дальше все происходит в секунду: Вадим подбегает к машине, распахивает дверцу с моей стороны, вытаскивает меня, от неожиданности почти не сопротивляющуюся, потом распахивает другую дверь, заграбастывает с заднего сиденья Антона, и с Антоном под мышкой и с моей сумкой в руке идет к своему «жигуленку».

Мы с Гербертом стоим возле «мерседеса» и смотрим, как захлопывается задняя дверь «жигуленка» за Антоном и моей сумкой, как Вадим садится за руль и открывает для меня правую дверцу; слышим, как включается мотор и как, опомнившись, заметался и заревел в машине Антошка.

Герберт бросается к «жигуленку», но я встаю на его пути, и теперь на моем лице он читает все, чего не смог прочитать по дороге.

— Герберт, милый… Прости… — Я обнимаю его, целую и бегу к раскрытой для меня двери.

А он остается рядом со своим опустевшим, грохочущим музыкой «мерседесом» и ошалелым взглядом провожает нашу машину, которая, с визгом развернувшись, уносится назад, к Ленинграду…

— …Где же, ну где же ты был все это время?

— А ты?

— Я так устала и так соскучилась…

— А я? Боже, какой же я был идиот! Ведь действительно, такая простая арифметика: если два человека любят друг друга, если им вместе так хорошо, как и не придумать… Это же проще, чем дважды два, верно?

— Да! Да!

Он поднимается с постели.

— Все. Конец бессмыслице. Завтра же перевожу вещи.

Я поворачиваю голову и вижу, что он сидит на стуле уже в брюках и надевает ботинки.

Он заметил мой взгляд и добавил поспешно:

— У меня ведь ничего с собой, даже пресловутой зубной щетки.

Я продолжаю смотреть на него, и в сердце что-то тихо стынет, стынет и тоскливо сжимается.

— У меня лишняя найдется.

Он секунду подумал, встал, взялся за рубашку.

— Нет, надо все рассказать Юле. Нельзя убегать трусливо, не объяснившись, это будет опять вранье. Завтра же утром… Хотя завтра у нее аспирантский день — не лучшее время для разговоров. Вечером…

Я встала и накинула халат. Какой бедлам в комнате, все разбросано, следы сборов.

— Ты обиделась?

— Нет, что ты.

— Но разве не подло начинать новую жизнь с малодушия? Я не прав?

— Прав.

Хожу, подбираю разбросанные вещи, только бы заниматься каким-нибудь делом, сосредоточиться, чтобы не выдало лицо. Он ходит за мной, продолжая убежденно:

— Если мы ждали этого столько лет, какая разница — днем раньше, днем позже. Ты не представляешь, когда я узнал, что ты уехала, меня словно током шибануло: как же я без тебя? Какая чудовищная несправедливость! Ты слышишь?

— Слышу.

Иду в прихожую, заглядываю к Антошке. Он спит в обнимку с автоматом, сморенный всеми потрясениями сегодняшнего дня.

— Малыш, ты все-таки сердишься?

— Нет, что ты. Спасибо тебе.

— За что?

— Что устранил несправедливость.

Иду в ванную, снимаю колготки с веревки.

— Просто я знал, что ты его не любишь. Я правильно знал?

Молчу, он подходит, обнимает меня сзади.

— И давай забудем это все, как страшный сон. Да?

— Конечно.

Я высвобождаюсь тихонько, снова выхожу в прихожую.

— Тебе пора. Уже половина двенадцатого.

Снимаю его куртку с вешалки, он надевает ее.

— Знаешь, малыш, давай так: прощаться не будем, как будто я просто вышел в соседнюю комнату. Ведь эти два дня пролетят как мгновение?

Он улыбается, и я улыбаюсь ему в ответ.

— Конечно.

Как ни старательно улыбаюсь, что-то кажется ему все-таки подозрительным, он вглядывается в мое лицо.

— А хочешь, я сегодня останусь? Это теперь уже не имеет никакого значения. Позвоню и скажу, что я у тебя…

— Что ты. Иди. Уже поздно.

Он, как обычно, на прощанье проводит ладонью по моей щеке.

— Тогда, как всегда — до завтра?

— Как всегда!

Хлопает дверь.

Стою перед зеркалом. Ни горя в глазах, ни обиды. Одна усталость. И хочется спать. Спать…

Надежный товарищ прозвенел ровно в половине восьмого, как положено. Хотя сегодня выходной, и в такое время спешить некуда.

Тем не менее встаю, включаю проигрыватель: «Держи меня, соломинка, держи…», иду в ванную. Умывшись, принимаюсь перед зеркалом за свое лицо. Собираешься жить дальше — держи форму.

Покончив с лицом, вхожу в Антошкину комнату, распахиваю шторы. Белым-бело вокруг, на крышах и на тротуарах.

— Подъем!

Антон чуть шевельнулся и снова затих. Наклонясь, тормошу его, щекочу пятку:

— Да проснись ты, надо же, какой бурундук!

Открыл глаза, пожмурился, вспомнил что-то и глядит на меня настороженно.

— Опять на пятидневку?..

Вытаскиваю его, теплого, из-под одеяла, ставлю на ноги, еще нетвердые со сна.

— Ну зачем же на пятидневку. Теперь будет все, как раньше.

— И мы будем вместе? — смотрит недоверчиво.

— Конечно. И сегодня будем вместе, и завтра будем вместе, и послезавтра будем вместе. Ты да я, да мы с тобой!

Бегу на лыжах. Давно не бегала.

Погода ясная, солнечная, снег скрипит, лыжня отличная, день выходной, вокруг полно лыжников в ярких костюмах, палки звонко чиркают по снегу остриями, телу хорошо, упруго и свободно, и в голове никаких мыслей, кроме одной: бегу и мне хорошо.

Бегу, да вдруг крепление соскочило. Наклонилась починить, никак не получается. По снегу ко мне придвинулась длинная тень и остановилась.

— Все равно без меня не получится. Давайте помогу.

Подняла голову — стоит симпатичный, голубоглазый, в меховой шапке. В пальто и без лыж.

Он возится с креплением, косится на меня.

— А вы почему без лыж?

— Я на работе. Вон, — кивает он на весело раскрашенный домик, возле которого цветные тенты, стойки для лыжи даже столики расставлены на снегу, как в кафе. — Спортбаза для фирмачей. Оазис капитализма в снегах России.

— А вы?

— А я врач, сегодня при ней дежурю. Вдруг кто свою драгоценную ногу сломает. Здоровье для них — первое дело. Орудие производства. Вон глядите, какой мистер-твистер катит.

Мимо нас к домику, скрипя лыжами по снегу, подкатывает мужчина. Крепкий, усатый, краснолицый, без шапки на рыжих волосах. Лихо развернулся, скинул лыжи, воткнул в снег, а из кармана достал фляжку и глотнул с удовольствием.

— Впечатляет? — спрашивает доктор. — Представляете, на сколько его нога застрахована, если у него в каждой стране по представительству?

— Спасибо, — благодарю я доктора, надевая починенную лыжу. — Побегу дальше.

— На здоровье, — отпускает он меня с явным сожалением. — А знаете что? — и смотрит на меня своими голубыми глазами, и довольно нахально. — Приходите сюда в следующий выходной. Я здесь каждое воскресенье дежурю. Кофе выпьем, поговорим.

— О чем?

— Ну, хотя бы… о странностях любви.

— Ага! — убегая вперед, откликнулась я. — Приду. Исключительно обязательно!

Приходит домой с гулянья Антошка, снимает шубу и боты — а на столе стоит тарелка, полная крупных спелых вишен. Вытаращил глаза от изумления.

— Мам, откуда вишни?

— А, эти, — бросаю я небрежный взгляд на тарелку. — Эти из леса. Понимаешь, каталась я сегодня на лыжах по лесу — и вдруг вижу среди белых деревьев одно зеленое-зеленое, и все в вишнях. Я сняла лыжи, залезла на дерево — дай, думаю, сынуле наберу, он ведь любит вишни. Вот и принесла.

Он смотрит на меня недоверчиво, потом вдруг хитро улыбнулся:

— А вот и неправда, зимой вишен не бывает! Ты их в магазине купила и разморозила!

— Ну-ка, ну-ка, — радостно насторожилась я, — еще раз скажи: р… раз…

— Размор-розила!

— Размор-розила! — кричим мы хором. — Ур-ра! Р-р-р-р! Р-размор-розила!